

Предисловие переводчика

Предуведомление к первому русскому изданию этой книги начиналось так: «Прошло пятьдесят лет с тех пор, как “Пнин” вышел первым изданием (Doubleday: Garden City, New York, 1957), и почти двадцать пять, как он появился в русском переводе (Ardis: Ann Arbor, Michigan, 1983), и математическая соразмерность этого двоякого события, равно как и семантическая перекличка выходных данных (особенно этот мотив удвоения), а также столиц и усадеб, как будто переплетаются в один из тех цветочных рисунков, которые напоминают узоры непревзойденной набоковской работы. Но в отличие от оригинала, мой перевод вещь скоропортящаяся: тотчас по выходе я обнаружил в нем (и это после десяти, кажется, корректур!) уйму неудачных, несуразных и прямо неверно понятых мест...» Прошедшие с тех пор восемь лет уничтожили числовую соразмерность и обнаружили новые неудачные места, требовавшие выправления. Эта необходимая правка сделалась чем-то вроде необходимой периодической замены приводных ремней и подтягивания болтов автомобиля каждые столько-то тысяч верст пробега. Еще в самом начале восьмидесятых годов Вера Набокова, которая тщательно редактировала перевод, прислала мне список своих поправок, и я тогда же начал их собирать для маловероятно-

го, как казалось тогда, исправленного издания. Спустя пять лет московский журнал «Иностранная литература» попросил позволения перепечатать издание «Ардиса», не без основания полагая Набокова писателем во всяком случае иностранным, и, напечатав, прибавил от себя огромное количество новых ошибок (особенно частых в словах иностранных). Еще через десять лет этот испорченный текст, уже без спроса, вышел книгой в Харькове (где он оказался в обществе двух незнакомцев), но в то время пиратские суда с причудливыми рострами уж давно бороздили ничейные издательские воды во всех направлениях, и новые переложения «Пнина» стали появляться то тут, то там под разными веселыми флагами. В этих обстоятельствах переиздание старого перевода представилось опекунам наследия Набокова желательным. Юбилей казался удобным для того поводом, а новая серия изданий его книг — наилучшим местом*.

К самому первому, мичиганскому, русскому изданию было приложено послесловие переводчика, где, в частности, объяснялись главные черты этого не совсем обычного, мнимо-двойного перевода, где русская или русифицированная английская речь героя передается как бы из вторых рук. Издание «Азбуки» 2007 года представляло собою совершенно новую редакцию — поверхностной отделке или основательной переделке подвергся весь словесный состав книги. Мне хотелось добиться большей верности средствами не только дискретными, т. е. словарны-

* За возможные частичные или даже дословные совпадения с другими напечатанными русскими версиями «Пнина» я никак не могу отвечать, потому что никогда не читал ни одного чужого перевода Набокова (кроме двух-трех страниц «Ады» в двух разных изложениях, по просьбе сына Набокова, для сравнительного анализа).

ми, как оно было в первом издании, но и совокупными — цельными фразами, передающими смысл чужой речи слогом, свойственным автору на родном его языке. Говорю здесь только об одном из условий поставленной себе и целый год упорно преследовавшейся задачи, а не о ее решении, о чем не могу судить не только из приличия, но и потому, что после стольких помарок, колебаний и новых помарок притупляется способность отличать острое от пресного, холодное от горячего, — притупляется самый вкус. С другой стороны, его остается довольно, чтобы сознавать, что шероховатостей еще много, но, сняв в девятый раз стружку, я объявил ее последней и отнял руку и уж теперь больше ею не проведу из опасения все-таки занозить ее.

Юбилейные соображения сделали предыдущее издание несколько отличным по составу от других в той же серии; так, у него имеется обширное послесловие, сохраненное и в этом новом издании. Для чего оно?

Иное дело писать, иное — сочинять, в начальном значении этого слова. Писателей на свете великое множество, но настоящих сочинителей единицы. Набоков возвел искусство соположения составляющих книгу слов, фраз, кусков, глав, тем, пластов, начал и концов на дотоле неведомую и доселе необитаемую высоту. Серьезное чтение его книг таким образом есть искусство того же самого рода, что и сочинение, ибо для настоящего понимания его композиций необходимо после первого чтения еще и еще раз пересекать всю местность романа вдоль и поперек течения местного времени. Это занятие составляет для читателя Набокова высшее наслаждение, и наслаждение это находится в родстве или по крайней мере в свойстве с восторгами самого сочинителя. Дело восхитительно трудное, но опыт учит искать и находить пособия. Например,

у любой книги Набокова имеется подробный план местности, снабженный указателями направления преобладающего ветра и высоты над уровнем моря, условными знаками и стрелками и крестиками на месте тайников, но для того, чтобы вычертить хотя бы контурную карту, кладоискателю нужно сначала нанести сигнальные точки, которые требуется потом соединить. Для облегчения этого труда и для лучшей ориентации внутри романа и предлагается истолковательный очерк, напечатанный в виде длинного послесловия. Набоков говорил, что космическое отличается от комического одним свистящим звуком. Но то же можно заметить и в отношении умозрительного и уморительного, так как оба эти нитяных строя составляют, в причудливом и искусном переплете, полотно романа. Эти и другие, более важные антиномии нуждаются в указании и объяснении, без которого эта книга — на вид простая, а на самом деле весьма сложной повествовательной постройкой — не может быть оценена по достоинству и даже сколь-нибудь верно понята.

Все те места, которые, по моему рассуждению, могли бы привести в недоумение читателя, не знакомого с американским бытом вообще и академическим в особенности, объясняются в постраничных примечаниях. Я очень хорошо знаю, что примечания вредят повествовательной иллюзии, для которой требуется изоляция от внешнего мира, но пришлось с этим примириться. В конце концов, предисловия и послесловия тоже инородные тела, и они или отторгаются от корпуса романа и пропадают, или приобретают некоторые свойства вымысла, словно хотят быть в свите книги и везде ее сопровождать (у «Лолиты», например, двойной эскорт).

Набоков в каждом предисловии к английским изданиям своих книг считал нужным «послать приветствие

венской делегации»; мне же в этом жанре приходится всякий раз касаться вопроса о русском языке. Удивляться ли этому, если вспомнить, что нужно переводить русского писателя непревзойденной силы на язык, который находится в самом жалком состоянии. Профаны полагают, и важно объявляют, словно эта глупость непререкаема, что *язык развивается*. Но то же можно сказать и об опасной болезни. Вопрос в том, можно ли остановить такое развитие, а вовсе не в том, нужно ли пытаться его остановить. В теперешней письменной речи очевидно не только общее стремление к понижению и оскудению средств выражения, как это было раньше на протяжении полувека, но налицо и явная тенденция к испакощению этих средств. Теперь не мастера «развивают» язык, а воры — одни тащат из чужих кошельков, другие из чужих наречий, и так обогащается десятилетиями настоящий на сухофрукте советский говор. И в естественных-то условиях за родным языком в письменности нужен глаз да глаз, ухо да ухо, в одной руке Даль, в другой линейка. Но в бывшей России произошло такое искоренительное надругательство над языком, т. е. над людьми, его в себе «носившими», что и старые книги, изданные по-новому, не остановили и не могут остановить распространение блатной музыки и ворованного американского товара, определяющих теперь норму речи. Кстати о Дале: у меня имеется объявление о новом советском издании его словаря (каталог Торгового Дома «Россия», 2001), где сказано: «Толковый словарь живого великорусского языка, 4 тт. *Впервые на русском языке*». И это в сущности верно, все дело в том, что этим словом называть: или Даль с его толковым, живым и великорусским, или близь, с ее торговым мертвым домом.

В таких безпримерно неблагоприятных условиях, когда не знаешь, можно ли родной свой язык имено-

вать русским, переводить Набокова есть, конечно, дерзость едва ли позволительная. Мой перевод страдает многими неисцелимыми пороками, общими обстоятельствам времени и места, вдобавок к моим собственным. Но все же надеюсь, что благодаря долгим усилиям, благодаря пособию лучшего из возможных сотрудников (у Веры Набоковой было безупречное чувство языка), благодаря, наконец, этой возможности еще раз исправить и улучшить старую работу, русский язык этого «Пнина» лучше больничного рациона из порошкового молока и киселя из порошка, — надеюсь, я хочу сказать, что здесь угадываются другие реки, другие берега.

Вот как Набоков заканчивает одно свое послесловие: «Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: “Позвольте представиться, — сказал попутчик мой без улыбки, — моя фамилия N.”». Если заменить курсив на стенограмму, профиль на силуэт, а прописной латинский «нашъ» на «буки» — то получится довольно верный реферат этого труда.

Г.Б.

2 июля 2015 г.

Колумбия, Миссури

ПНИН

*Русский перевод посвящается
памяти Веры Набоковой*

Глава первая

1

У северного окна вагона неумолимо мчавшегося поезда сидел пассажир, у которого не было соседей ни рядом, ни напротив; это был не кто иной, как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый, он выглядел весьма солидно, если начинать осмотр сверху: большой коричневый купол, черепаховые очки (скрадывавшие младенческое безбровие), несколько обезьянье надгубье, толстая шея и внушительное туловище в тесноватом твидовом пиджаке; но заканчивался он как-то неожиданно парой журавлиных ног (они теперь были одеты во фланелевые штаны и перекинуты одна на другую) с нежными на вид, несколько женскими ступнями.

На нем были неподтянутые носки алой шерсти в лиловых ромбах; его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему едва ли не дороже всей прочей экипировки (включая и вызывающе цветистый галстук). До сороковых годов, в степенную европейскую пору своей жизни, он всегда

носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков в стрелку, скромных оттенков, которые держались подвязками на его обтянутых бумазеей икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых кальсон под слишком высоко вздернутой штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука, и если сухонькой мадам Ру, консьержке в скверных номерах в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из Ленинизменной России и завершения высшего образования в Праге провел пятнадцать лет, случалось придти к нему за квартирной платой, когда на нем не было его *faux col**, чопорный Пнин прикрывал запонку на горле целомудренной рукою. Все это переменилось в пьянящем воздухе Нового Света. Теперь, в свои пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, прилежно, нарочито, дерзко выставлял напоказ чуть не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик; но ежели не считать солдата, сидевшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом, — в вагоне кроме Пнина не было никого.

Раскроем теперь один секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Этого не ведал ни он сам, ни кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. Более того, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне —

* Приставного воротника.

верст двести на запад от Вэйнделя, академическо-го наместа Пнина с 1945 года, — вице-президентша кремонского дамского клуба мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд отходит из Вэйнделя в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; однако Пнин (который, как и многие другие русские, хватал через край во всем, что касалось расписаний, карт, каталогов, коллекционировал их, набирал их без стеснения из одного только полезного удовольствия приобретения задарма, и исполнялся особенной гордостью, когда ему удавалось самому разобраться в расписании поездов) после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда (отб. из Вэйнделя в 2.19 дня, приб. в Кремону в 4.32); сноска эта указывала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд два-девятьнадцать останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским именем. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело.

Он преподавал русский язык в Вэйндельском университете, несколько провинциальном заведении, которое было замечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса; увитыми плющом галереями, связывавшими отдельные университетские корпуса; фресками, на которых можно было узнать тамошних профессоров, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок;